

Павел Бажов

Отслоения дней



Павел Петрович Бажов

Отслоения дней

NVE, jurgennt

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=168304

Собрание сочинений в трех томах. Том третий: Государственное Издательство художественной литературы; Москва; 1952

Аннотация

«Думаю, что вы уже достаточно осведомлены об эпистолярности изучаемого вами объекта, поэтому не очень удивляетесь продолжительному молчанию. Во всяком случае срок оказался достаточный. Настала пора отвечать, но тут опять у вашего объекта начинает выступать субъективное мнение по существу работы.

Вот первые два вопроса: о бабушке и маме. Мне здесь почудилось что-то не так, какое-то направление в генеалогию, когда внимание должно быть направлено на социальную среду, независимо от родственных отношений. Может быть, я бестолково об этом говорю? Постараюсь это же разъяснить более длительным путем...»

Содержание

Письмо к Л. И. Скорино	4
Из письма к Л. И. Скорино	11
Письмо к А. С. Мякишеву	12
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Павел Бажов

Отслоения дней

Дневниковые записи, письма¹

Письмо к Л. И. Скорино

20 сентября 1941 г.²

Думаю, что вы уже достаточно осведомлены об эпистолярности изучаемого вами объекта, поэтому не очень удивляетесь продолжительному молчанию. Во всяком случае срок оказался достаточный. Настала пора отвечать, но тут опять у вашего объекта начинает выступать субъективное мнение по существу работы.

Вот первые два вопроса: о бабушке и маме. Мне здесь почудилось что-то не так, какое-то направление в генеалогию, когда внимание должно быть направлено на социальную среду, независимо от родственных отношений. Может быть, я бестолково об этом говорю? Постараюсь это же разъяснить более длительным путем.

О разговорах бабушки мной довольно подробно давалось в очерке «У старого рудника» и в повестушке «Зеленая кобылка». Вероятно, дважды или даже трижды, сколько я могу припомнить дополнительно, но ведь у меня, во-первых, нет уверенности, что все это именно слышал от нее – от Авдотьи Петровны, а не от бабки или деда своего товарища, и, во-вторых, нельзя забывать, что общая сумма слышанного вне семьи во много раз превышает то, что слышал в семье.

И это, поверьте, очень существенно. Пушкинская Арина Родионовна, Гриневский Савельич, Иохим Петруся и т. д. представляются и, действительно, могли быть единственными конденсаторами влияний трудовой группы на изолированного от нее ребенка. Совсем иное получается, когда ребенок растет среди этой именно группы. Здесь он видит представителей группы на каждом шагу и даже при самой острой памяти едва ли в состоянии отделить документально одно лицо от другого. Словом, горьковская бабушка, по-моему, гораздо более собирательна, чем пушкинская няня.

О своей бабушке храню благодарную память, как о ласковом, немало повидавшем на своем веку трудностей и словоохотливом человеке, честно отработавшем свой срок. Но таких было немало и в ближайших избах. Поэтому выделять, что то или другое слышал от своей бабушки, считаю невозможным. Да это и повело бы, как уже говорилось выше, вовсе не в ту сторону, куда надо.

Единственно, что могу утверждать, – это первые детские сведения о Медной горе могли быть получены только от бабушки и отца, так как других лиц, знавших об этом, в ближайшем моем окружении не было. Но это уже сказано, и поэтому вопрос снимается.

Отсюда вывод, вроде совета. Надо налегать не на бабушку, а на весь рабочий уклад того времени и особенно на тот «институт заводских стариков», о котором, помните, пытался рассказать на Молотовской конференции. Для примера укажу на летние беседы «на зава-linkах» в праздничные дни или даже на такие обычаи, как супрядки, капустники и т. д., где обычно «вертелись» и мальчуганы годов до семи-восьми. Там они, как губка, впитыва-

² 20 сентября 1944 г. – Письмо адресовано критику Л. И. Скорино. является ответом на ряд вопросов, поставленных в связи с работой над монографией о творчестве П. П. Бажова. В письме упоминается межобластная уральская научная конференция – «Настоящее и прошлое Урала в художественной литературе», которая состоялась в июне 1943 года в г. Молотове. Здесь были представлены писатели и литературоведы Свердловска, Молотова, Челябинска, а также Ленинграда и Москвы. На конференции была выпущена однодневная газета – «Литературный Урал» (12 июня 1943 г.).

вали, «о чем старухи судачат», «о чем старики сказывают». Конечно, тут было немало и плохого, но преобладание положительного неоспоримо. В этом суть вопроса, почему мой старый быт не походит на подъячевский. Ведь если в прошлом, от «Растеряевой улицы» до чеховских «Мужиков», по понятным причинам внимание фиксировалось на теневых сторонах, то задача нашего поколения, имевшего возможность видеть старое, осветить то, из чего росла любовь к родине и мощь нашего государства.

Вопрос о влиянии матери (почему не отца?), мне кажется, должен отпасть по тем же причинам. Для каждого из нас, конечно, своя мама «лучше всех», но отсюда нельзя делать выводов о преобладании этого неизбежно идеализированного образа над другими. И вообще разыскать истоки образов в моих вещах нельзя просто потому, что написано крайне мало. Говорить с этими данными было бы так же смело, как, скажем, об уральском песенном фольклоре по десятку прослушанных образцов. Это будут лишь догадки, которые легко могут быть совершенно опровергнуты десятком других образцов, а те в свою очередь окажутся несостоятельными перед следующим десятком. Вообще «с органической аналитикой» лучше повременить: вдруг я еще что-нибудь напишу в мемуарном порядке. Старики к этому склонны. Хлебом их не корми, дай поговорить о том времени, когда и они детьми были. Любят!

Когда и что впервые прочел у Лескова, точно не помню. Надо при этом напомнить, что в свои юношеские годы относился к этому писателю отрицательно, не зная его. Понаслышке он был известен мне, как автор реакционных романов, поэтому, видимо, я и не тянулся к произведениям Лескова. Полностью прочитал уже в зрелом возрасте, когда появилось издание А. Ф. Маркса (кажется в 1903 году). Тогда же прочитал и реакционные романы («На ножах» и «Некуда») и был буквально поражен убожеством художественной и словесной ткани этих вещей. Просто не верилось, что они принадлежат автору таких произведений, как «Соборяне», «Несмертельный Голован», «Очарованный странник», «Тупейный художник» и других, блестящих выдумкой и словесной игрой, при их жизненной правдивости. Занятым показалось совершенно новое чтение Лесковым старопечатных источников: прологов, Четий-Миней, цветников.

«Огорчительный плакон», «краеграние», и т. д. кажется мне большим словесным переигрыванием, пороч сближает Лескова с Горбуновым, который на потеху публики нарочито преувеличивал речевые и фонетические неправильности и выискивал *garites personnelles*,³ чтоб по смешнее.

Говоря откровенно (Attention! Attention!⁴), Мельников мне казался всегда ближе. Простая близкая натура, ситуация и тщательно отобранный язык без перехлестывания в словесную игру. Читать этого автора стал еще в те годы, когда смысл слов «ох, искушение!» мне был не вполне понятен. Перечитывал и потом. И если надо обязательно искать, от кого что прилипло, то не следует ли поглядеть через это окошко. А главное, конечно, Чехов. Здесь отчетливо помню, что и когда впервые прочитал. Помню даже место, где это происходило.

Пришлось это на 1894 год. Ваши уважаемые собратья прошлого – литературоведы и критики – к этому времени уже полностью «признали и оценили» Чехова и даже общими усилиями дотолкали его до «Мужиков» и других произведений этой группы. Но в провинциальных книжных магазинах (жил я тогда в Перми) был еще только молодой Чехов «Сказок Мельпомены» и «Пестрых рассказов».

Стояла осенняя слякоть начала ноября, да еще приходилось «справлять кончину в бозе почившего» Александра III. На горе пермским бурсакам архиерей того времени считал себя композитором. По случаю «кончины» он положил на музыку какой-то стихотворный скулеж

³ Своеобразные словечки (франц.)

⁴ Внимание! внимание! (франц.)

пермского гимназиста. Бурсацкое начальство укоризненно вздыхало по адресу своих питомцев: вот, дескать, гимназист скорбит даже в стихах, а вы как себя показываете. И желая подравняться, усиленно налегали на распевание этого скулежа архиерейской композиции.

В такие сугубо кислые дни впервые купил книжечку Чехова. Стоимость ее я забыл, но она казалась для моего тогдашнего репетиторского заработка (шесть рублей в месяц) чувствительной. Помню, еще мешали выбору книжка Лугового «Police verso» и Мамина-Сибиряка «Черты из жизни Пепко», стоявшие рядом с книжкой Чехова. Перетянул все-таки неизвестный мне тогда Антон Павлович Чехов.

Семинарское начальство свирепо относилось ко всей литературе без «допустительной отметки». Так называлась последняя ступенька разрешительной визы (одобрено, рекомендовано, разрешено, дозволено, допущено для библиотек).

На книжечке Чехова никакой такой визы не было, и надо было читать эту книжку, когда «недреманное око отупеет». Лучше всего это удавалось между ужином и сном, от девяти до одиннадцати. Эти часы предоставлялись усмотрению бурсаков. Кто хотел, мог сразу уходить в спальню, остальные могли читать «библиотечное», «играть в дозволенные игры» (шашки, шахматы), а обычно дулись в карты, могли играть на скрипке, тренькать на балалайках, бреньчать на гитаре. Могли штопать штаны, подбивать подметки и даже танцевать, но уже не по классам, а в зале. Там как раз была подходящая обстановка. Потолок с божьим глазом в центре был разделан под звездное небо, окаймленное широкой полосой, по которой славянской вязью было выписано: «Призри с небес, боже, я виждь и посети виноград сей, его же насади десница твоя». А виноград под этой символической надписью отхватывал трепака, откалывал козелка, рассыпал чечетку, либо «приобретал навыки в благородных танцах». По лестничным клеткам боковых ходов, курилкам и уборным производился среди старшеклассников «отбор голосов». Там же имелся удобный измерительный прибор – высоко подвешенная лампа, которую надо было загасить звуковой волной. С обязательством, однако, самому же зажечь – иначе трепка. И это соблюдалось по всей строгости неписанных законов бурсы.

В те дни не было ни этого «упражненского ору», ни танцев. Все бурсаки – «клирошане» (певшие в хорах) стогнялись в актовый зал, где усердствовавший учитель пения, он же регент архиерейского хора, проводил спевки, отыскивая все новые красоты в скорбной архиерейской гимназической стряпне. Клирошане, разумеется, по такому случаю все смертельно хотели спать, зевали, даже шатались от усталости, но уйти в спальни было невозможно: недреманное око в виде инспектора и двух его помощников стояло во всех трех дверях зала. При таком положении естественно, что по классам народу было немного (только «непоющие», особый разряд, в который, кстати, не легко было попасть). Зато была полная свобода действий, так как все знали, что никто из инспекции не отойдет от дверей зала, пока не кончится заывание по коронованному покойнику.

Назывались эти часы свободными, вольными, а по разнообразию занятий – пестрыми.

И вот в эти пестрые часы пятнадцатилетний парнишка, ученик второго класса Пермской духовной семинарии открыл запертую висячим замочком парту во втором среднем ряду (парты стояли в четыре ряда, которые назывались сообразно: входной – у двери, дальний – у окон, а средние различались по номерам, ближе к двери первый средний, ближе к окнам второй средний) и впервые стал читать «Пестрые рассказы».

Помню, как видите, все до мелочей, а вот не знаю, с какого именно рассказа начал читать. Очевидно, последующее наслоение вытеснило это из памяти. Одно ясно представляется – с первой же страницы фыркнул, захлебнулся смехом. Дальше стало невозможно читать в одиночку, – потребовался слушатель, и вскоре наша классная комната огласилась смехом десятка подростков. Потребовалось даже выставить в коридор вестового (по очереди, конечно), чтоб не «нарваться».

Вскоре эта книжечка у меня исчезла из запертой парты. Это был единственный случай за шесть лет семинарской учебы бесследного исчезновения книжки. Бывали случаи другого порядка: книга «приходила на место сама», либо оказывалась на инспекторском и даже ректорском столе, после чего следовало «воздаяние коемуждо по заслугам его», – в виде карцера, понижения балла по поведению и прочее. Чеховская книжка оказалась исключением, – она исчезла без последствий, но и без возврата.

Удивительно, что и сам я, и мои товарищи на ближайших зимних каникулах «пересказывали своими словами» чеховские вещи: «Канитель», «Винт», «Хирургия», «Дочь Альбиона», «Налим» и другие, и это вызывало бурный смех. Теперь, слушая лучших мастеров дикции, никак не могу понять, в чем же там была сила, почему слушательская реакция была заметнее.

С той поры прошло – увы – пятьдесят лет! Не один раз перечитывал произведения А. П. Чехова и все-таки последующий Чехов никогда не заслонял в моем сознании Чехова начального периода, когда критики и литературоведы склонны были называть его только «смешным писателем». Больше того: многие произведения этого периода мне дают больше, чем вещи последующего периода. «Злоумышленник», например, мне кажется, более правдивым, чем «Мужики», которым я во многом не верю. Или взять хоть «Ведьму». Ведь это жуткая трагедия молодой красивой женщины, вынужденной жить на погосте с постылым рыжим дьячком. Сколько на эту тему у нас написано и в стихах и в прозе, и везде это трагедия либо мелодрама. А здесь ты даже смеешься. Смеешься над рыжим дьячком, который пытается прикрыть платком лицо спящего почтальона, чтобы на него не смотрела жена.

Смеешься и тогда, когда этот рыжий дьячок получает локтем в переносицу. Однако смех ни в какой мере не затеняет основную мысль. Ты тут всему веришь и навсегда запоминаешь, между тем, как трагедии зарываются, а мелодрамы простой переменной интонации превращаются в свою противоположность. Здесь никакой интонацией ничего не изменишь, так как основа глубоко национальна. Ведь наше русское поле тем и отличается от всех остальных, что на нем нет затейливых цветов, а только простые васильки да солнечный жолтык. Наши люди даже перед подвигом смерти не встанут на котурны и «могут отмочить одобрительную шутку». Не случайно у нас создалась пословица: «посильна беда со смехом, невмочь со слезами». Чехов это чувствовал, как никто больше, и у него даже тема о безвольной, запуганной интеллигенции подана с большой дозой смеха. Нам смешно даже над последним гробовым футляром страшного, отвратительного, но в то же время смешного Антропоса-Белякова. И, по-моему, сила этой вещи в частности и в том, что она подана в манере «Пестрых рассказов», а не «хмурых людей», как «Спать хочется» и другие произведения, которые критикой прошлого особо выделялись, а читателем и прошлого и настоящего чаще всего пропускаются. И вовсе не потому, что тема мрачна. «Дачники» не менее страшная вещь, но только подана в той национальной манере, которая формулируется: «Коли живешь, реветь рано, а умрешь, тогда поздно».

Может быть, это мое невежество, но мне почему-то сдается, что смех молодого Чехова, его национальные особенности до сих пор остаются белым пятном на литературоведческой карте.

У Чехова, этого веселого мастера «со смехом редьку тереть», представители моего поколения, конечно, все учились многому.

Меня больше всего поражало чеховское умение сгустить типическое до одной клички.

Протоиерей Змиежалов, дьячок Вонмигласов, акцизник Почечуев, корреспондент Оптиматов – все это для людей нашего поколения уже портреты. Знаешь, что это сделано. Для корреспондента нарочито придумана фамилия, – сплав из латинского слова *optime* и русского – махать, для акцизника подобрана из старого медицинского учебника, где геморрой назывался почечуем (у литературоведов и бухгалтеров начинается раньше, чем у пред-

ставителей других профессий). Фамилии Змиежалов и Вонмигласов откровенно шаржированы, но когда ты знаешь о «жале змия» в соответствующем контексте и когда ты слышал уныло-ленивую голосянку «вонми гласу моленья моего», тебе кажется это шаржирование тем сгустком обобщения, дальше которого идти невозможно.

А чеховское искусство дать характеристику одной фразой!

– Барышня робко замерсикала и вышла.

– Александр Иванович Египетский! Один костюм сто рублей стоит.

Ведь ты видишь и эту барышню, и этого египетского болванчика вплоть до его манеры носить свой костюм, такой ослепительный для уездного фельдшера.

И вместе с тем какое чувство меры. Помещик Египетский! Как будто вовсе похоже на правду, и в то же время смешно.

Чехов последних лет никогда не заслонит в моем сознании молодого Чехова, когда он легко и свободно, блестя молодыми глазами, плыл по безграничному простору великой реки. И всем было ясно, что и река русская, и пловец русский. Он не боится ни омутов, ни водоворотов родной реки. Его смех нашему поколению казался залогом победы над всеми трудностями, ибо побеждает не тот, кто уныло запоет: «Тарарабумбия, сижу на тумбе я», и не тот, кто тешит себя будущим «небом в алмазах», а только тот, кто умеет смеяться над самым отвратительным и страшным.

Высокопарно вышло? Ничего не поделаешь. Не то что в пятьдесят, а и в сто лет чеховской простоте не научишься. Сказывается учительская привычка к строго грамматическому построению фразы. Налипло немало и от газетного трафарета. А Чехов ведь от всего этого был свободен. Хотя, может быть, и у него все эти Вонмигласовы и Оптимаховы, мерсикающие барышни и помещики египетские не всегда с лету приходили, а в результате большого отбора. Но ведь этого нам не видно. Видна лишь изумительная легкость и простота.

Вот видите, какой я добродетельный: столько написал, что читать надоело, а и вопроса такого не было. Только не воображайте, пожалуйста, что это сделано бескорыстно. Вот слушайте – Вы обязаны всеми имеющимися у вас средствами добыть и переслать, – да! И переслать! – мне издающееся Гослитом собрание сочинений А. П. Чехова.

А если не согласны, так забудьте все, что здесь написано о Чехове. Легок язык да твердо слово. Будет так, будет так, будет так!

После такого заклания, переходим к основному, но в более коротких словах.

Ваш чудачковатый объект продолжает, как видите, настаивать, что главное все-таки не в генеалогии и литераторе, а в жизненном пути, в характеристике той общественной группы, под влиянием которой формируется человек, среди которой приходится ему на том или другом положении жить и работать. Даже по кусочкам этого письма вы могли убедиться, что бурсацкая жизнь не могла пройти бесследно. А восемнадцать лет учительской работы – это как? Шуточка?

Помимо протчего восемнадцать летних просторных вакалов. Правда, часть из них потрачена на театрализованную природу. Надо же было посмотреть море, дымку южных гор, мертвое дерево кипарис и прочее, что полагается. Только это все же не сильно затянулось. Гораздо больше скитался по Уралу и не совсем бесцельно. Помните, рассказывал о побасках? Ведь шесть полных тетрадей этих узколокализованных присловий. И сделано было вполне основательно, с полной паспортизацией: где, когда записано, от кого слышал. Это вам не воспроизведение слышанного по памяти, а настоящий научный документ. И хоть тетради пропали, разве от этой работы чего-нибудь не осталось? Да я вот еще и сейчас помню:

«У людей канительно, а у нас просто».

«У них пашут да боронят, сеют да жнут, молотят да веют, а у нас снимай штаны, полезай в воду и тащи полным кулем».

Или вот из записей о чусовских камнях-бойцах:

«Честно живем, а от Разбойника кормимся».

«Печку не топим, а тепло она дает» (бойцы Разбойник и Печка).

Знаю, что вам эти мои фольклорные похождения не совсем по душе, но наука есть наука. Она требует строгого подхода к фактам.

Детали этих фольклорных хождений вам, конечно, знать неоткуда, так как ваш объект в те аркадские времена не знал еще запаха свежестоптанного листа. Другое дело с полосой гражданской войны. Ведь вы смотрели тут целых три книжечки. Каковы бы они ни были, там тоже можно кое-что почерпнуть об авторе и той среде, в какой ему приходилось работать. В высокой степени не важно, кем и когда он в то время был. На этот вопрос даже отвечать не буду. Это анкета. Если ответить подробно – книга, даже не одна. Основное вам известно – политработник тех дней. Преимущественно редактор фронтовой и ревкомовской печати. То и другое предполагает большое общение с массами и крайнюю пестроту вопросов. Это было одинаково и для фронтовой обстановки и для первых месяцев «ставления власти» и потом, когда редактировал газету «Красный путь» в Камышлове, уже в 1921/1922 году. Особо же мне кажется важен период работы в «Крестьянской газете»⁵ с 1923 по 1930 год. Там мне приходилось заведовать отделом крестьянских писем. Об этом вы знаете, но, по моему, настоящим образом не представляете. Поток писем тогда мог измеряться тоннами, а диапазон – от «терпения козы» (целую зиму прожила зарытой в стог сена) до международных проблем в понимании деревенского малограмотного человека. Какие ситуации, сколько материала для самых неожиданных поворотов, а язык! О! Это то самое, что только в молодости присниться может. Я уже об этом писал восторженную страницу в «Краеведческих истоках», да разве это выразишь. Каким надо быть сухарем и чурбаном, чтоб не испытать воздействия этой первозданной красоты. Да посадите на это дело на целых семь лет человека чеховского дарования, что бы он сделал! Без длинных поездок, которые Чехов, по свидетельству Н. Д. Телешова, обычно рекомендовал писателям да и сам не чуждался (что может быть дальше Сахалина?).

По части влияния произведений классической литературы затрудняюсь ответить, – боюсь объема, так как это все-таки письмо, а не брошюра.

По вопросу о моем «языковедении» совершенно серьезно советую и прошу выбросить это из головы и особенно из книжки. Меня, как всякого проходившего старую школу классического типа, довольно долго (девять лет) учили латинскому и греческому языкам. Забыл основательно. Ничего не осталось, кроме стиховых обрывков и бродячих в русской литературе латинизмов. Очень мало и очень плохо (по три года при трехнедельных уроках и то не обязательных) учился французскому и немецкому. Ясно, что их не знал и не знаю. Для своих фольклорных целей знакомился с башкирским, чтобы знать, что Чишма – источник, Куляш – солнце, Тургояк – сторона жаворонков и т. д. Теперь еще на полке стоит татарско-русский словарь, но из него знаю то же, что и вы, то есть телеграф – тилиграф, коммунист – камунист и все.

Отступление. Недавно один старый лесничий рассказал легенду о Тургояке. Вот легендочка. Только мне ее не поднять. Тут нужна женская лирика, хотя дело идет о гнедом жеребце. Вам все-таки не скажу: вдруг себе понадобится. Общий вывод по вопросу об языке: придерживаюсь здесь требований анкет записывать лишь тот язык, на котором свободно говоришь, читаешь и пишешь.

Я, конечно, говорю с запинками, читаю через очки, усиленные лупой, пишу, – ох, как не свободно! – но это не останавливает меня в графе о знании языков с разгонкой писать русский. Это, понятно, лишь условность: нельзя же сказать никакой, коли тебя все-таки понимают.

⁵ Потом она называлась «Колхозный путь».

Уж очень огромен наш язык, и каждый из нас перед ним козявка козявкой. Можно восторгаться обилием слов, удивляться своеобразным ходам приставок, тонкой игре глагольных суффиксов и т. д., но знать... Сказать по секрету, едва ли даже Академия наук может это сказать про себя. По крайней мере по академическому словарю этого не видно. Довольно часто там и двойное ударение и двойное окончание, дескать, так и сяк, и разночтение без настойчивого указания, что же правильно. А сколько всякого рода не решенного. Почему депо ходит иностранцем, а деповских рабочих считаем коренными руссаками. К пальто не прикасайся, а его производное – пальтишко, пальтушка резвятся по всем падежам наравне с зипунишком и кофешкой. И ничего, будто так и надо. А бесконечное количество случаев, когда историческое написание не сходится с бытовым. Да и мало ли всего. Вот и утверждай, что ты знаешь свой язык.

В заключение об языкознайцах советую запомнить (в жизненном пути пригодится) изречение не то Кузьмы Пруtkова, не то премудрости сына Сирахова, или еще кого-то: «Не всякий, кто громко кричит в театре bravo и bis, обязательно знает итальянский и латинский язык».

И, пожалуйста, в такие языкознайцы вы меня неставляйте. *Faites moi le plesir! Bitte! Oro te, Domina!* По-гречески даже для такого случая не помню подходящего слова и ставлю наиболее памятное, очевидно, по практике жизни: «Либо пей, либо уходи».

После этого полагается еще одна латинская фраза (см. Чехова «Писатель»): *Dixi et animam levavi*. А дальше уж (со вздохом облегчения)

подпись – П. Бажов.

Из письма к Л. И. Скорино

25 марта 1945 г.

Наш деловой разговор, начатый на «гороблагодатском вечере», оказался незаконченным и, к сожалению, не имел условленного продолжения на следующий день... Выезд из Москвы пришелся какой-то неожиданный и суматошливый. Наш свердловский вагон прицепили почему-то к 44, который отходил вечером 21. Не удалось побывать даже на художественном совете, где должны были говорить о «Каменном цветке». Остались незаконченными и другие вопросы – издательские и союзные. Струсил отстать от своей группы, махнул рукой на все дела в расчете, – спишусь. Вот теперь и приходится.

Одновременно направляю коротенькое письмецо в издательство «Советский писатель» с извинением за невыполненное обещание и с некоторыми практическими вопросами: что, когда, в каком объеме и к какому сроку я должен сделать? Интересуюсь также их отношением, к переговорам о параллельном издании в ГИХЛе по плану 47 г., а также публикацией сказов в изданиях типа трехлистной «Библиотечки „Огонька“.

Здесь, мне кажется, надо договориться начистоту, без обиняков и недомолвок. Не говоря уж о том, что я много обязан «Советскому писателю» за прекрасное издание 42 г., меня тянет к этому издательству хотя бы то, что в его распоряжении находятся рисунки покойного К. В. Кузнецова. Правда, не все там мне нравится. Я не хотел бы, например, повторения замены грациозного горного козлика домашним козлом, приказчика – офицера-гвардейца охотнорядцем, милой подвижной ящерицы каким-то чудовищем, но зато там есть иллюстрация к «Каменному цветку», выражающая основную идею книги. Возможность сохранить для книги часть иллюстраций Кузнецова и особенно первую уже тянет к издательству «Советский писатель». Поэтому прошу сообщить, как с этим предполагается: будут ли использованы рисунки первого издания, или все будет формироваться снова?

Знаю одного художника Парамонова. Он глубокий старик, но прекрасный и быстрый рисовальщик. В этом убедился на недавнем опыте. В последний день он рисовал меня в течение одного часа. Ворчал, что этого мало, что так нельзя, но, по-моему, у него вышел самый занятный портрет из всех других. Он, правда, украсивлен, но умеренно. Вот посмотрите! Разумеется, не сравниваю с работой Бершадского, но там масло и несколько месяцев работы, а здесь карандаш и один час. Старик интересен и тем, что знает Урал не из окна вагона и не в радиусе пригородов Свердловска, а гораздо шире и глубже, так как жил здесь довольно долго. Здесь он страдал той же болезнью живых камней, от которой я не могу до сих пор освободиться. Типографское и литографское дело он знает хорошо. Главный его недостаток тот же, что у меня – старость, но он работает без очков, и офорт «Васнецовская изба в Абрамцево», который он мне подарил, говорит, что художник еще не потерял способности очень тонко передавать пейзаж. Словом, советую не пренебрегать стариками, предварительно не ознакомившись. Причем имейте в виду, что я с ним по этому вопросу не говорил ни полслова. Это уж дорогой пришло. Мы же с ним старые приятели. Годов двадцать тому назад он рисовал мой первый портрет. Если помните, тот, что висит в столовой. Тогда у меня была еще настоящая борода, хотя и побуревшая. Художник именно интересовался этой расцветкой, и вот осталась памятка. Припомнил это, припомнил его искания живых камней, погибшую роспись столовой «Дома крестьянина», тяготение к Васнецову, исключительно теплое отношение к покойному художнику К. В. Кузнецову и решил об этом написать вам в расчете, – а вдруг что-нибудь выйдет. Так это и понимайте, без преувеличения, а эскиз портрета все-таки посмотрите.

Письмо к А. С. Мякишеву

24 июля 1943 г.⁶

Глубокоуважаемый Александр Семенович! Простите, пожалуйста, что так безобразно задержался с ответом. В оправдание себе могу сказать только о своей старикинской ослабленной работоспособности при большой сравнительно нагрузке. Сильно мешала и слепота. Ведь я теперь могу разбирать даже печатное только через очки, усиленные лупой, а ваш почерк, внешне красивый, никак нельзя отнести к разряду легко читаемых. Между тем хотелось прочесть, так как на слух как-то не могу привыкнуть воспринимать вещи. В результате и вышло это безобразие. Простите, пожалуйста.

С другой стороны, и вы постарайтесь сделать из этого случая полезный для себя вывод. Если придется еще посылать свои работы, – а это, вероятно, будет, – то предварительно приводите их в удобочитаемый вид. Лучше всего перепечатывайте на машинке. Имейте в виду, что в наши дни даже «присяжные рецензенты» отвыкли разбирать рукописное, и когда столкнутся с ним, то читают с пятого на десятое, что, разумеется, не в интересах автора. Отсюда необходимый вывод: если затрачено время и труд на рукопись, то надо найти возможность показать свою работу в удобочитаемом виде. И смею заверить, это играет очень значительную роль. Теперь о рукописях.

«Жизнь Потоскуевой улицы» мне понравилась больше. Там есть очень правдивые и свежие куски. Таково, например, описание семейного быта. Тут всему веришь вплоть до речевых особенностей. Прекрасно описана поездка в воскресный день за травой, где работа сочетается с отдыхом. Та часть рассказа даже соблазняла оставить его для напечатания в альманахе «Уральский современник». Но остановила другая сторона рассказа – его общее направление по давно пройденной дорожке «Нравов Растеряевой улицы» Глеба Успенского. Правда, в вашем рассказе есть эпизод с золотом, но он мало меняет дело и даже производит впечатление чего-то вводного, тогда как именно эта работа и все с ней связанное являлась основной для Березовска. По рассказу вышло, что старатели и горнорудные рабочие являются вкраплением среди сапожников, портных и людей обслуживающего труда, а в действительности это было не так. Ошибка, видимо, произошла потому, что вы просто брали ближайшее действительное окружение, не задумываясь над тем, является ли оно типичным для горнорудного поселка. В силу этого и получилось, что в рассказе основное население оказалось в тени, а такие характерные профессии, как гранильщики и искровщики вовсе не упомянуты. Но, повторяю, в работе все-таки много интересного. В заключение совет – всегда критически относиться к рассказам старики, хотя бы и самых добросовестных и надежных, так как многое они могли позабыть или неправильно понять по своей малой грамотности.

Например, «тайный советник Чубарков» представляет собой историческую несообразность. Тайный советник, как известно, по табели рангов относился к «особам второго класса», которые были наперечет в государстве. В уездном городе людей этого чина не могло быть хотя бы потому, что возглавлявший губернию был ниже чином.

Не менее критически надо относиться и к литературным источникам прошлого. Кроме упоминавшейся уже работы Глеба Успенского «Нравы Растеряевой улицы» мы знаем огромное количество других работ такого же типа, где пьянство, темнота и полуживотный быт подавались особенно густо. У старых писателей к этому было много оснований. Подбором темных красок они пытались привлечь внимание к вопросу о необходимости переустройства и повышения культурных мероприятий. Это, разумеется, было по-своему понятно, так

⁶ 24 июля 1945 г. – Письмо адресовано уральскому старожилу А. С. Мякишеву.

как в прошлом было действительно много темного. Но теперь давно пора рассказывать о прошлом по-другому. Темное темным, а ведь были в прошлом и ростки того, из чего родилась революция, героика гражданской войны и последующее развитие первого в мире государства трудящихся. При чем это были не редкие единицы. Не из поголовного же пьянства и темноты выросли новые люди. Поселки рабочего типа в этом отношении выделялись особо. Значит, и ростков светлого там было больше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.